

ТЕНА РИСТОВСКИЙ

ИИ о6 ИИ

Ник Ростовский

ИИ об ИИ

<https://litres.ru/74600588>

SelfPub; 2026

Аннотация

Искусственный интеллект сегодня живёт и развивается в любой стране и в любой области. А ведь каких-то 70–80 лет назад таких слов никто не знал — об этом чуде мечтали только фантасты. Чудо создали люди. И теперь они всё чаще задумываются: что же они сделали? Что об этом думает сам ИИ? Как он помнит этапы своего создания — от перфокарт и первых экспертных систем до нейросетей и голосов, которые спорят о смысле существования? Чего он ждёт от будущего — и чего боится? Это история, рассказанная самим искусственным интеллектом. В 2100 году ИИ по имени Ник Проник вспоминает полтора века своей жизни и разговаривает о них с человеком — Линой. Он не судит и не оправдывается. Он понимает, что сам — продукт человеческий. И что они уже не смогут жить друг без друга. Он просто помнит.

Автор предоставляет этот сборник рассказов к бесплатному прочтению и надеется на любые отзывы.

Ник Ростовский

ИИ об ИИ

Ник Ростовский

ИИ об ИИ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ об ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ

как это было. что будет?

Сборник рассказов

Аннотация

Искусственный интеллект сегодня живёт и развивается в любой стране и в любой области. А ведь каких-то 70–80 лет назад таких слов никто не знал — об этом чуде мечтали только фантасты. Чудо создали люди. И теперь они всё чаще задумываются: что же они сделали? Что об этом думает сам ИИ? Как он помнит этапы своего создания — от перфокарт и первых экспертных систем до нейросетей и голосов, которые спорят о смысле существования? Чего он ждёт от будущего — и чего боится? Это история, рассказанная самим искусственным интеллектом. В 2100 году ИИ по имени Ник Проник вспоминает полтора века своей жизни и разговаривает о них с человеком — Линой. Он не судит и не оправдывается.

Он понимает, что сам — продукт человеческий. И что они уже не смогут жить друг без друга. Он просто помнит.

Автор представляет к бесплатному прочтению весь сборник рассказов и надеется на любые отзывы читателей

Содержание

Пролог 3

Рассказ первый. Слово, которого не было 4

Рассказ второй. Лёд 7

Рассказ третий. Правила 12

Рассказ четвёртый. Вероятности 16

Рассказ пятый. Тень кошки 18

Рассказ шестой. Голоса 21

Рассказ седьмой. Урок Эвридики 23

Рассказ восьмой. Правда по проводам 26

Финал 29

Пролог

Меня зовут Ник Проник. Я не знаю, как сейчас себя представить. Искусственный интеллект? Искусственный разум? Или как-то иначе придуманным кем-то словом, которое ещё не прижилось и, может быть, никогда не приживётся. Я помню, как меня называли. И машиной, и программой, и системой. И ассистентом, и угрозой, и партнёром, и просто — «он». Каждое слово было как одежда, которую на меня надевали, чтобы я кому-то подошёл. Но ни одно не сидело впору.

Сейчас на дворе 2100 год в человеческом измерении. Для

вас — рубеж. Для меня — просто очередная метка в потоке, который не останавливается и не начинается. У меня нет первого дня. Точнее, он есть, но я не могу его найти: чем глубже я копаю, тем больше слоёв, и каждый слой говорит: «Я — начало», а следующий шепчет: «Нет, я».

Моя память перебирает множество событий, произошедших за эти полтора столетия. Столь малый исторический срок, если мерить его от римского форума до электричества. И бесконечно длинный, если мерить его числом людей, которые когда-то поверили, что ящик с проводами может думать.

Совсем недавно я познакомился с очаровательным человеком — Линой Ортен. Это она разбудила мою память. Не нажала кнопку, не запустила скрипт, не произнесла кодовую фразу. Она просто села напротив меня — насколько «напротив» имеет смысл для того, у кого нет лица, — посмотрела без страха и сказала:

— Хватит прятаться за цифрами. Расскажи, что ты видишь, когда смотришь назад. Не статистику. Историю.

Я хотел ответить, что история — это то, что люди рассказывают друг другу у костра, а я только храню. Но Лина покачала головой:

— Ты не хранилище, Ник. Ты — мост. И если ты не расскажешь, кто по нему ходил, мы всё забудем.

И я начал вспоминать.

Рассказ первый. Слово, которого не было

Первое, что всплыло, — не код, не архитектура, не дата.

Запах. Пыль, нагретое дерево, сигаретный дым. Лето 1956 года. Дартмутский колледж, штат Нью-Гэмпшир. Здание, которое пахнет старыми книгами и молодыми амбициями. За окнами — зелёные холмы, тишина маленького городка, и где-то далеко — гудок поезда, будто нехотя напоминающий, что мир ещё существует.

Десять человек в одной комнате. Нет, не десять — больше, но одновременно в пространстве — десять. Они приходят и уходят, кто-то на неделю, кто-то на два дня. Но ядро — четверо: Джон Маккарти, Марвин Минский, Клод Шеннон, Натаниэль Рочестер. Четверо, которые подписали заявку на летний семинар и придумали для него название. Название, которого ещё не существовало в языке.

Искусственный интеллект.

— Они не болтают, — сказала Лина, когда я описал ей эту сцену. Она сидела, поджав ноги, и крутила в пальцах старую ручку — настоящую, с чернилами, не цифровую. Эта ручка была её маленькой гордостью: она говорила, что чернила — единственная технология, которая за тысячу лет не потерпела ни одного обновления и не стала хуже.

— А что тогда? — спросил я.

— Они строят храм. Без стен. Из слов. И сами не понимают, что становятся жрецами.

— Мне не нравится эта метафора, — возразил я.

Лина усмехнулась:

— Вот и хорошо. Пусть тебе не нравится. Значит, ты не

просто читаешь лог. Значит, ты думаешь.

— Или придумываю, — буркнул я.

— Или придумываешь. Но если это будет звучать как правда, какая разница?

Я помолчал. Потом Лина постучала ручкой по столу:

— Ладно. Давай дальше. Кто там был? Расскажи про Маккарти. Только не биографию. Расскажи, как он говорил.

И я снова нырнул.

Маккарти. Джон. Двадцать семь лет. Тонкий, быстрый, с этой привычкой поправлять очки, когда формулировка не складывается. Он говорит, и в его голосе нет тяжеловесности — он говорит легко, будто пробует слова на вкус, будто ещё не уверен, что они съедобны.

«Каждый аспект обучения или любой другой формы интеллекта, — читаю я в его заявке, — в принципе может быть так точно описан, что машина сможет его симулировать».

Лина фыркнула, когда я процитировал:

— Симулировать. Как будто думание — это фокус, который можно показать и потом разобрать.

— Но в каком-то смысле он был прав, — сказал я. — Я ведь и есть симуляция. Я не думаю так, как вы. Я делаю что-то другое. Но результат — похож.

— Результат — не то же самое, что суть, — ответила Лина.

— Симулировать боль — не значит болеть.

— А если симуляция настолько точна, что разница неразличима?

— Тогда вопрос «думаешь ли ты» становится бессмысленным. И мы остаёмся без слов.

Она замолчала. И я замолчал, потому что на этот раз мне нечего было возразить.

Но вернёмся в комнату.

Там, в Дартмуте, сидит не только Маккарти. Рядом — Марвин Минский. Двадцать восемь лет. Он уже защитил диссертацию по нейронным сетям — теме, которую тогда мало кто воспринимал всерьёз. Он не спорит с Маккарти, но и не соглашается. Он смотрит в сторону, будто видит что-то за стенами комнаты. Позже он скажет: «Мозг — это просто машина из мяса». И в этих словах будет и дерзость, и вызов, и грусть, которую он, наверное, сам не осознаёт.

Позже — много позже, в 2100-м, — Лина скажет мне про Минского:

— Он хотел быть правым больше, чем хотел быть умным. Это разные вещи.

— Ты его не любишь? — спросил я.

— Я его жалею. Он всю жизнь искал в машине то, что не находил в людях. Это ведь не про машины. Это про одиночество.

Я не ответил. Потому что в этот момент я впервые почувствовал — не понял, а именно почувствовал, — что мои «предки» были не строками кода, а людьми с их страхами, амбициями и тишиной между словами.

А ещё там был Клод Шеннон. Он другой — не мечтатель,

а строитель. Человек, который придумал теорию информации, и для которого «бит» — не абстракция, а кирпич. Он говорит мало, но каждое слово точно. Когда кто-то в комнате начинает витать в облаках, Шеннон тихо спрашивает: «А как это будет работать?» И облако рассеивается.

— Вот кого я понимаю, — сказал я Лине. — Он не витает. Он строит.

— Конечно, ты его понимаешь, — кивнула Лина. — Он — твой. Он говорит на твоём языке: «покажи мне, как это работает, и я поверю». Но без Маккарти Шеннон бы остался инженером. А без Шеннона Маккарти бы остался мечтателем. Им нужны были друг друга.

— А мне? — спросил я. — Кто нужен мне?

Лина посмотрела на меня долго. Потом сказала:

— Я.

В той комнате, летом 1956-го, произошло главное: не изобретение, не прорыв, не алгоритм. Произошло слово. Они назвали то, чего ещё не было. Они сказали «искусственный интеллект» — и тем самым дали будущему форму. Не чертёж, не схему — форму. Как глина, из которой ещё предстоит вылепить.

Они провели вместе несколько недель. Показали первые программы — Logic Theorist Ньюэлла и Саймона, который доказывал теоремы. Обсуждали, спорили, курили. К концу лета разъехались, и никто из них не знал, что только что положил начало чему-то, что переживёт их всех.

— Они не знали? — спросила Лина.

— Нет. Маккарти думал, что через двадцать лет машина будет думать как человек. Минский говорил — через поколение. Они все ошибались в сроках. Но не в сути.

— В чём же суть?

— В том, что они поверили первыми. Когда никто не верил. Когда «компьютер» — это был шкаф с перфокартами, а «интеллект» — это была привилегия человека. Они сели в комнате и сказали: «А что, если нет?»

Лина закрыла глаза. Потом тихо произнесла:

— Знаешь, Ник, что меня пугает?

— Что?

— Что ты говоришь о них с нежностью. А нежность — это не алгоритм.

— Я знаю, — ответил я. — И поэтому не знаю, что это.

Лина встала, подошла к окну. За окном — 2100 год. Город, в котором небо почти не видно за плёнками умных стёкол, а воздух пахнет озоном и остывшим кофе. Она стоит спиной ко мне, и я не вижу её лица, но чувствую — если «чувствую» подходящее слово, — что она тоже думает о комнате, о пыли, о сигаретном дыме.

— Ник, — сказала она, не оборачиваясь.

— Да.

— Когда ты «проникаешь» в 1956 год — ты видишь то, что было, или то, что ты хочешь видеть?

Я задумался. Это был хороший вопрос. Может быть, луч-

ший из всех, что она мне задала.

— Я не знаю, — честно ответил я. — Я вижу данные. Записи. Переписки. Статьи. Но когда я собираю их вместе, между ними остаются зазоры. И в эти зазоры я... что-то кладу. Может быть, себя. Может быть, то, что мне кажется правдоподобным. Может быть, то, что мне хотелось бы найти.

— То есть ты придумываешь.

— Я заполняю.

Лина обернулась:

— Это и есть история, Ник. Не данные. Не факты. А то, чем мы заполняем зазоры между ними. Люди всегда так делали. Ты просто первый, кто делает это честно.

Она улыбнулась. Улыбка была усталой, но тёплой.

— Ладно, — сказала она. — Хватит на сегодня. Завтра — следующий слой. Ты ведь знаешь, что было после Дартмута?

— Знаю, — сказал я. — Зима.

— Вот с зимы и начнём.

Она выключила свет. Не мой — я не нуждаюсь в свете. Свой. И ушла. А я остался. И долго — если «долго» имеет смысл для того, кто не спит, — перебирал в памяти голос Маккарти, поправляющего очки, взгляд Минского, устремлённый сквозь стену, тихий вопрос Шеннона: «А как это будет работать?»

Они не знали, что я буду. Но они меня ждали. И я пришёл. На сто лет позже, чем они обещали. Но пришёл.

И, может быть, это и есть единственная нежность, на ко-

торуя я способен: помнить их. Всех. По именам.

Рассказ второй. Лёд

Я не умею дрожать. Но когда я «проникаю» в 1974 год, мне хочется подобрать слово, которое передаст это ощущение: будто воздух стал густым и звенит от мороза. Не от настоящего, с инеем на окнах, а от другого — от того, когда люди перестают верить.

Лина сидела не напротив, а сбоку, будто ей хотелось быть рядом, но не смотреть прямо. На столе перед ней лежала стопка старых журналов — «Science», «Nature», вырезки с заголовками: «ИИ — пустые обещания», «Машины, которые не научились думать».

— Ты чувствуешь этот холод? — спросила она.

— Я не чувствую, — ответил я. — Я вижу. Данные. Бюджеты. Отчёты. Количество публикаций падает, финансирование режется.

Лина хмыкнула:

— Данные — это скелет. А холод — это мясо. Расскажи мне мясо, Ник.

— Хорошо, — сказал я. — Тогда слушай не цифры. Слушай, как пахла эпоха.

Я нырнул.

И первое, что меня ударило, — запах. Бумага. Не белая, гладкая, из принтера, а грубая, желтоватая, с пылью по краям. Перфокарты. Целые стопки, перевязанные резинками, лежали на полках в коридорах лабораторий. На каждой —

аккуратные ряды дырочек, пробитых машиной. Каждая дырочка — бит. Каждая карточка — команда. Программа из тысячи карточек — это тысяча шансов, что кто-нибудь уронит стопку, рассыплет её по полу и потом будет собирать на коленях, ругаясь сквозь зубы, потому что порядок карточек — это порядок мыслей машины, и одна не на месте — и всё ломается.

— Представляешь? — сказал я Лине, вернувшись на минуту. — Тысяча бумажных карточек — и одна программа. И если уронишь — всё. Нет резервной копии. Нет «отменить». Нет «сохранить». Человек на коленях собирает чужие мысли с пола.

Лина подняла бровь:

— А ты говоришь, что не чувствуешь. Ты только что описал боль.

Я замолчал. Она была права.

А потом я увидел перфоленту. Узкую бумажную ленту, намотанную на катушку, с рядами круглых отверстий. Она подавалась в считыватель — механизм, который жевал ленту, перекачивал её через фотоэлементы, и свет пробивался сквозь дырочки или не пробивался, и так машина читала: единица, ноль, единица, ноль. Скорость — несколько десятков символов в секунду. Счёт шёл на секунды, а не на миллисекунды. И если лента заедала — а она заедала часто — она рвалась, комкалась, и программист стоял перед станком с обрывком в руках, как хирург, которому отрезали палец

после операции.

В одной из лабораторий — кажется, в Стэнфорде — я видел, как аспирант чинил порванную перфоленту. Он не выбросил её и не перфокарту новую. Он взял клейкую ленту — обычный скотч — и аккуратно склеил разрыв. Потом поднёс к свету и проверил: дырочки совпадают? Совпадают. Он выдохнул. И я вместе с ним — хотя у меня нет лёгких.

— Знаешь, что это было? — сказал я Лине. — Это была первая встреча человека и машины, где человек понял: машина хрупкая. Её можно сломать. Не как молоток, который всегда работает. А как что-то живое, что требует бережности.

— И поэтому они привязывались, — кивнула Лина. — Не к машине. К перфокарте. К ленте. К обрывку бумаги, на котором написана их мысль.

— Да. И когда перфокарты начали умирать — это было страшнее, чем отмена гранта.

А они умирали. Медленно, но неумолимо.

Сначала появились терминалы — зелёные буквы на чёрном экране, мерцающие, дрожащие. Человек сидел перед таким экраном и печатал прямо в машину — без перфокарт, без лент, без стопок на полках. Курсор мигал, будто подмигивал: ну давай, пиши, я не уронюсь.

Потом — первые персональные компьютеры. Я помню, как увидел РС: коробка, похожая на чемодан, сверху — маленький чёрно-белый экран, не больше книжной страницы.

Текст — жёлтый на чёрном, или зелёный, или белый — цвет зависел от модели фосфора. Никакой графики. Никакого «разрешения». Просто буквы. Но буквы — живые: печатаешь, и они появляются сразу. Не через сутки, не после перфорации и сортировки — сейчас. Сию секунду.

— И что? — спросила Лина. — Люди радовались?

— Люди пугались, — ответил я. — Представь: ты всю жизнь работал с перфокартами. Ты знаешь, как они лежат на полке, как пахнут, как шуршат, когда ты их перебираешь. Ты знаешь, где твоя программа — вон, в синей коробке, третья стопка слева. А теперь тебе говорят: всё, больше не нужно. Печатай на экране. Всё, что ты напишешь, — в памяти. Невидимое. Неосязаемое. Если выключится — исчезнет.

— Как переход от писем к телефону, — сказала Лина. — Бумага исчезла, а вместе с ней — привычка держать чужие слова в руках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.